

12+

АБРАМ СОЛОМОНИК

Санкт-Петербург

Иерусалим

КАК НА ДУХУ

Абрам Соломоник

Как на духу

«ЛитРес: Самиздат»

2016

Соломоник А. Б.

Как на духу / А. Б. Соломоник — «ЛитРес: Самиздат», 2016

Эти мемуары принадлежат человеку, который вспоминает давно прошедшие события, непонятные для нынешней молодежи ни по содержанию, ни по подогревавшей их философии. Сегодня много спорят о том, что происходило, автор просто и доходчиво иллюстрирует эти споры фактами... было это так, а не иначе. Стоит почитать.

Содержание

Вместо предисловия	6
1. Детство	7
2. Начало войны	19
3. Приуралье в годы войны	23
4. Возвращение в Ленинград, школа и ВУЗ	29
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Абрам Соломоник

Как на духу

*Мой дар убог и голос мой не громок,
Но я живу, и на земле моё
Кому-нибудь любезно бытиё:
Его найдёт далёкий мой потомок
В моих трудах: Как знать? <...>*
Евгений Баратынский

В последней строке этого отрывка курсивом выделено замененное мной слово – у Баратынского здесь, разумеется, «стихах». Но я не поэт, а ученый...

Вместо предисловия

Сегодня мне исполняется 89 лет, и я начинаю писать мемуары, призванные произвести «перестройку моей души». Я обязан их завершить до прихода забвения. Мысль о мемуарах пришла мне в голову год назад, и я обратился к моему другу Е. Еремченко с просьбой оформить их с моих слов, но в его литературном изложении. Он согласился, но вскоре от этой идеи пришлось отказаться по причинам, которые я объясняю ниже:

«Дорогой Женя,

Придется мне просить у тебя прощения за то, что завел тебя писать обо мне книгу. Мы договорились, что я передам тебе все материалы, а ты их обработаешь и приведешь в читабельный вид. Я приступил было к работе, но ничего хорошего из этого не получилось. Воспоминания оказались настолько личными, что ни один здравомыслящий человек не поверит, будто их представляет кто-то другой, а не я сам, но только под чужим именем.

Тогда мне в голову пришла весьма простая мысль: а почему бы мне не сделать то самое, что я предлагал тебе, – сесть и самому записать то, что со мной происходило на протяжении моей затянувшейся жизни. Записать события, радостные и печальные, успехи и неудачи, словом все, что хранится у меня в памяти, и никому, кроме меня, неизвестно. Записать честно и без экивоков, насколько это возможно. Что я и попытаюсь осуществить.

Посему прости меня великодушно за то, что отвлек тебя от твоих повседневных дел и ежедневной работы. Отныне та самая рутина, которую я предлагал тебе, станет на какое-то время моей, и я отдаюсь ей всей душой и всеми помыслами.

Всего тебе доброго, друг!»

10 декабря 2016, Иерусалим

1. Детство

Детство было самым ясным и безоблачным периодом в моей жизни, хотя оно сопровождалось немалыми трудностями и неприятностями. Думаю, что детство мое продолжалось со дня рождения и до начала Великой Отечественной Войны.



Родился я в декабре 1927 года в небольшом белорусском городке, который так и называется, – *Городок*. Он располагается в бывшей черте оседлости, где проживали мои предки по материнской линии. Они занимались сельским хозяйством, а также добывали и продавали древесину. Семья моего деда была большая; у него с бабушкой было восемь детей, из которых я познакомился лишь с половиной. Моя мама была в семье последним ребенком; ей исполнилось всего восемнадцать лет, когда произошла большевистская революция, и это оказало на нее решительное влияние. Всю свою жизнь она повторяла, что именно революция дала ей – еврейской девушке из бедной семьи – возможность переехать в Петербург и получить затем высшее медицинское образование. Она стала детским врачом и преуспела в своей профессии.

Не знаю, когда мама переехала в мой любимый город, но там она поначалу работала в аптеке, где и познакомилась с моим будущим отцом. Возник бурный роман – отец уже был обременен семейством. Детали этого романа остались мне неизвестны, по дошедшим до меня слухам он был полон драматизма. В результате всех перипетий я и появился на свет, что противоречило всем еврейским законам и традициям. Я всю жизнь пребывал в статусе «незаконно рожденного ребенка», но это нисколько не огорчало меня и не мешало наслаждаться своим существованием в этом лучшем из миров. Рожать мама приехала к бабушке, где и состоялось

мое появление на свет. Пробыв у бабушки несколько недель, мама забрала новорожденного и уехала работать в городах и весях, куда ее отправляли по назначениям и соответствующим мандатам. До пятилетнего возраста я переезжал из одного маленького городка в другой, где благополучно рос и развивался.

От этого времени в памяти сохранились лишь смутные и отрывочные воспоминания. Помню, как я стою в детской кроватке с сетками по бокам и направляю струю мочи на пол, стараясь не попасть ею в кровать. Помню, как я однажды проснулся, а мама передает мне несколько детских журналов, которые она мне потом читала. Среди них был журнал «Ёж». Еще помню, как я играю в песочнице, изготавливая кирпичики и кренделя из песка, в то время как мама обсуждает мои достоинства с какой-то женщиной, и мне это нравится. Вообще я был, видимо, славным и приятным ребенком, о чем свидетельствует несколько сохранившихся фотографий. Вот одна из них:



Для мамы я всю жизнь оставался единственным светом в окошке, и так продолжалось до ее кончины в 1970 году. Только после ее смерти я смог осуществить свою давнюю мечту об эмиграции из страны Советов. Разговоры об этом продолжались долго, но мне не удавалось убедить ее поехать с нами, а оставить маму в одиночестве я, конечно же, не мог.

Предки по отцовской линии оставались для меня *terra incognita* до моего переезда в Израиль. С отцом я познакомился только после того, как мы возвратились в Ленинград после длительного скитания по центральной России. Мне было пять лет или около того. Поселились мы у маминого брата, который великодушно прописал нас в свою маленькую комнату на улице, называвшейся, насколько я помню, Ивановской. Позднее она стала Социалистической улицей и сохранила свое название до сих пор. Тогда я и увидел впервые отца, изредка нас навещавшего. Он оказался весьма симпатичным человеком, доброжелательным и рассудительным. До своей кончины уже в Израиле он оставался верующим, систематически ходил в синагогу и отправлял многие религиозные обряды. У нас с ним установились самые дружеские отноше-

ния. Время от времени он рассказывал мне о своем прошлом. Но о нем я еще напишу подробнее.



С момента переезда в Ленинград я, видимо, начал быстро взрослеть, потому что с того времени у меня появляются систематические воспоминания. Отлично помню сильно перенаселенную квартиру на Ивановской улице. Помню многодетную соседскую семью. С младшими детьми этой семьи я любил играть в дочки-матери, что пробудило во мне первые сексуальные влечения. К сожалению, мы прожили в этой квартире очень мало времени. Наша комната была слишком мала для троих, и мы сменили ее на большую комнату (примерно 20 м²) на соседнем Загородном проспекте, с которого начинаются уже настоящие и хорошо мне запомнившиеся впечатления.

Дом номер 17 по Загородному проспекту был и останется для меня домом, в котором я вырос и сформировался как личность. Во дворе этого дома я проводил большую часть времени; игры и общение с ребятами двора оказались решающими в моем воспитании. Из него я ходил в школу до окончания 6-го класса; туда возвращался после школы; там приобрел лучшего друга; там же приобщился к беспрестанному чтению и осмыслению окружающей действительности.

Воспоминания начинаются с переезда в этот дом с Ивановской улицы. С ужасом вспоминаю огромного битюга – ломовую лошадь, которая везла телегу с нашими вещами и никак не могла перетащить ее через арочный проезд во двор, мощный неровными булыжниками. Помню, как обезумевший извозчик нещадно лупил лошадь хлыстом, а она тянула и тянула телегу изо всех сил, пока, наконец, ей удалось сдвинуть ее с места. Я сопровождал их пешком и, видя мучения лошади, обливался горячими слезами.

Новая комната оказалась значительно лучше прежней, и мы расположились в ней по-царски. Квартира была коммунальной, в ней проживало много семей. Помню семью напротив

нас – супружескую пару интеллигентных пожилых людей. Еще одна семья была очень тихой и жила рядом с нами, через стенку. Помню большую и шумную семью вечно ссорившихся между собой работяг. Особо надо отметить одинокую женщину по фамилии Карелина, оказавшуюся писательницей. Она распознала во мне любителя чтения и давала мне книги из своей библиотеки. Они были предметами моего увлечения в течение многих лет. Я читал их еще до поступления в школу, а потом, уже в школе на уроках, раскрывая у себя на коленях книгу под партой. Вообще чтение в моем детстве было одним из основных, если не основным моим увлечением, о котором я скажу особо.

Средоточием жизни в нашей коммуналке была, разумеется, кухня. В ней готовили, в ней хранились кухонные принадлежности и некоторые продукты в столиках, каждый из которых принадлежал отдельному жильцу. На столиках стояли примусы и так называемые «керосинки», или «коптилки» владельцев стола, а над столиками висели на сиротливых проводах индивидуальные лампы, преимущественно без абажуров. На кухне обсуждались текущие дела, перемысливались косточки соседей и происходили бурные перебранки. Мама часто принимала участие в этих ссорах, а я очень переживал и болел за нее. Ко мне все жильцы квартиры относились хорошо, похваливали меня и предвещали большое будущее. А я тем временем достиг школьного возраста и начал учёбу.

До поступления в школу мама редко отпускала меня гулять во двор. Она устроилась работать детским врачом в районе нашего проживания и пропадала у себя на участке с утра и до вечера. Мой дядя тоже был на работе целыми днями. Я оставался один. Мать запирала меня в комнате, оставляла холодную еду для пропитания и горшок для исправления надобностей. Я ложился на диван и читал, читал, читал..., мысленно переносясь в тот мир, о котором говорилось в книге. Вот уж, действительно, «всем хорошим во мне я обязан книгам». Так продолжалось и продолжается всю мою жизнь.

Когда пришла пора школьной учебы (1935 г.), мое времяпровождение круто изменилось. Меня было невозможно запирать в комнате, и я переместился во двор. Это был уже иной мир. Мои интересы поделились на три части: школьные дела, книги и двор с его особой атмосферой и предпочтениями. Придется описать по отдельности каждое из этих слагаемых.

Школа располагалась в Чернышевском переулке, недалеко от дома. Вернее, во время учебы в первом и втором классе расстояние это казалось мне большим, но постепенно оно стало суживаться и становилось все меньше и меньше. Помню первый день в первом классе, когда мама отвела меня в школу, держа за руку. Я шел за ней с замиравшим от нетерпения и страха сердцем, но все обошлось достаточно прозаично. Учился я хорошо, без особых срывов или триумфов. Помню лишь крупную неприятность в первом или во втором классе, когда учительница вызвала маму и пожаловалась на мой прескверный почерк, который было невозможно разобрать. Тогда на каллиграфию (чистописание) обращали большое внимание, а мой почерк был похож на то, как «курица по листу ходила». Мама расстроилась и в первый же визит папы попросила его воздействовать на меня. И он воздействовал, отстегав меня ремнем. Было не больно, но очень обидно, и я проплакал весь вечер. Это был единственный раз, когда меня наказали физически, и я сильно переживал по этому поводу. Но, по-видимому, урок подействовал: я приложил некоторые усилия и мой почерк изменился к лучшему.

Учился я легко, память была как губка. Я впитывал все, что слышал на уроках, и мне не приходилось тратить много времени на приготовление домашних заданий. Дело облегчалось тем, что, имея сильную близорукость (видимо, из-за постоянного чтения), я сидел на передней парте. До выпускного десятого класса я не помню себя проводящим за домашними заданиями более четверти, максимум получаса. Но отметки я имел хорошие, а в конце года обычно получал Похвальную грамоту. Одна из них у меня сохранилась. Привожу ее снимок не ради хвастовства, но чтобы показать, что это такое. И содержание и оформление ее отражают дух той эпохи. Вот она:



Школа занимала меня не только уроками и домашними заданиями, были еще внеклассные мероприятия, прием в пионеры, влюбленности и товарищества. Но все это проходило для меня неглубоко и безболезненно – эмоции сохранялись для двора и для нескончаемого чтения. Отчетливо вспоминается лишь драматический кружок, куда я попал уже в шестом классе. Там поставили пьесу по книге Дюма «Двадцать лет спустя». Кто-то из старшеклассников создал по роману сценическую версию: набрали исполнителей, отрепетировали и сыграли на школьной сцене. Не знаю, каким образом вышли на меня; скорее всего, меня втянул в это дело мой лучший и незабвенный друг Лёша (о нем чуть позже), и я получил роль Атоса. Стоит отметить, что в период моего детства произведения Дюма-отца были очень популярны среди молодежи. Я очень гордился своим участием в этой постановке, где главную роль играли, разумеется, старшеклассники. Сыграл я эту роль без особого блеска, но воспоминания о событии долго еще будоражили воображение.

Вспоминаю и о первой влюбленности. Предметом моего обожания была девочка из моего класса. Она сидела на парте в первом ряду от доски, была мала ростом, и звали ее Мила. Мне она казалась верхом совершенства, хотя я этого не показывал. Помню, как я, спрятавшись за угол, подглядывал за ней, а она беззаботно проходила мимо, не догадываясь о своем соглядатае. Этим, однако, все и завершилось. Все происходило в полном соответствии со стихами одного из моих любимых поэтов Наума Сагаловского:

«... и сладкий хмель в душе моей, а мимо,
а мимо эта девочка идет,
предмет моей любви и воздыханий.
Я ей кричу: останься, подари
на память мне хоть пару нежных слов,
улыбку, взгляд, руки прикосновение,

и счастлив я – на много дней вперед.
Кричу, зову, а девочка уходит,
уходит, как проходит сквозь меня...»

Многое в школе проходило «сквозь меня», не задевая, зато во дворе и с книгами многое застревало и заставляло задуматься. Во-первых, во дворе меня посетила дружба; дружба, выдержавшая испытание временем и беспощадным круговоротом происходивших событий. Вскоре после переезда на новое место жительства я познакомился и подружился с обладателем огромных глаз и огромного обаяния, с мальчиком по имени Ашот, сменившим потом имя на Алексей, в просторечии – Лёша. Его история была подобная моей: мать развелась с отцом, вышла замуж за довольно известного художника, но мальчика оставила при себе и воспитывала в том же доме 17 по Загородному проспекту. Отец его был армянином, отсюда и первое имя мальчика, потом начались бесконечные судебные споры по поводу того, с кем и где ему жить и как его называть. Присудили ему проживать с матерью и называться Алексеем. В этом его качестве мы и познакомились, и я прибил к этой семье.

Мало сказать «прибил», – я проводил там зачастую больше времени, чем дома. Дома мне все же было одиноко, а с другом мы придумывали разные забавы и приключения, и нам было весело. Лёша был куда более заводным, чем я, и мастер на шалости, иногда весьма рискованные. Они жили на последнем, пятом этаже, и лестница к ним предоставляла нам площадку для развлечений, равно как и их квартира, которая днем обычно пустовала. Чего только мы ни придумывали: игру в прятки, в жмурки, в казаки-разбойники, ползание по разным сундукам, расставленным в длинном коридоре и содержавшим разнообразные интересные предметы, а, главное, книги и журналы. Лёша оказался столь же ревностным книгоедом, что и я, поэтому наши игры зачастую приобретали интеллектуальный характер. Когда мы пошли в школу, Лёшу приняли сразу во второй класс, а меня – в первый, и школьные пути наши разошлись, но дворовые интересы остались.

Мы страстно увлекались книгами Дюма-старшего, и Лёша придумал ОЮМ – Общество Юных Мушкетеров. Он получил статус Арамиса, я – Портоса, на роль остальных двух мушкетеров мы искали кандидатов по всему двору. Мы пробовали вовлечь в нашу затею многих ребят, но в конце концов остались вдвоем, и Общество, получившее написанную нами хартию и рисованную символику, просуществовало до самой войны 1941 года.

Не всегда наши отношения были безоблачными: иногда я находил новых друзей, иногда Лёша – и тогда я сильно ревновал и злился на весь мир. У меня время от времени возникали самые неожиданные проекты, которые я немедленно осуществлял, не считаясь ни с чем. Так, я два раза убежал из дома. Не было для этого особых причин, просто хотелось посмотреть мир. Одну из таких затей я хорошо помню. У моего приятеля по двору, Вовки Трубаева, был какой-то родственник в Лигово, тогдашнем пригороде Ленинграда, и он работал машинистом на поезде. Я уговорил Вовку сбежать из дома, найти его родственника, переночевать у него и оттуда уехать на паровозе в Африку. Мне безумно хотелось в Африку – посмотреть, что там происходит. Я сказал Вовке, что у меня много денег, которые мама собирала для покупки пианино (о занятиях музыкой я еще напишу); этих денег должно было хватить до самой Африки.

Вовка соблазнился, я вытащил, не считая, пачку припрятанных мамой денег – пачка была изрядная, – и мы пошли пешком до Финляндского вокзала, а оттуда на поезде «зайцами» (т. е. бесплатно) добрались до Лигово. Там мы долго искали дом Вовкиного родственника, но так и не нашли. Усталые и голодные, уже в сумерках, мы решили возвратиться домой. На поезде доехали до города, потом сели на трамвай, который должен был довезти нас до дома. Билетов, разумеется, не купили и стояли на передней площадке. Недалеко от Невского проспекта ко мне подошла кондуктор и потребовала билет. Я испугался и прямо с подножки прыгнул наружу. Я еще не умел прыгать с трамвая и на трамвай на ходу (позднее я научился это делать) и прыгнул против хода трамвая – упал, сильно ударился, но вскочил и, размазывая сопли и слезы,

побежал на тротуар. Добравшись до дома, я обнаружил маму в истерике. Она уже обегала все окрестности и даже заявила о пропаже сына в милицию. Мне крепко досталось от нее в этот раз, но деньги в полном объеме я тайком возвратил на прежнее место.

Были и другие приключения подобного рода, когда я действовал под влиянием минутного порыва, не обращая внимания на опасность. Так, мы с ребятами из моего класса иногда сбегали с уроков и бродили по близлежащим переулкам, а иногда заходили на далекую и неизвестную нам территорию. Помню, как мы расщепляли рублевую бумажку на две половинки – лицевую часть и реверс по отдельности, – складывали одну из сторон и расплачивались за какую-нибудь мелкую покупку сложенной бумажкой. И у нас получалось: мы приобретали и покупку, и еще сдачу мелочью. Потом быстро убегали от ларька. Это было сопряжено с опасностью, и именно это меня привлекало.

Помню еще езду на трамваях по Загородному проспекту: либо на подножках, либо на так называемой «колбасе» (в конце вагона торчала сцепка, на которой мы стояли, держась за шланг, тоже выступавший из вагона). Мы часто запрыгивали и выпрыгивали из трамвая на ходу. Это считалось признаком мужества, и я охотно принимал участие в этой игре, хотя был толст и неуклюж. Меня иногда дразнили «толстый, жирный, поезд пассажирный». Я сильно переживал по этому поводу и пытался развеять репутацию неловкого толстяка участием в разных опасных начинаниях. Любопытно отметить, что Лёша участия в таких проказах не принимал. Во всяком случае, я такого не припоминаю. Может быть потому, что ему не надо было утверждать себя в глазах других ребят, а я чувствовал такую потребность, то ли из-за моего имени и еврейства, то ли, чтобы показать, что я смелый, несмотря на полноту. Потребность самоутверждения во многом сократилась с отъездом из России, но полностью не исчезла до сих пор. Многие мои поступки можно объяснить желанием показать себя, доказать, что я свой парень и не хуже других.

Толстым же я был потому, что мама кормила меня, что называется, «на убой». Она действовала так под влиянием страха, что у меня есть склонность к туберкулезу (как-то у меня пошла горлом кровь, и она запаниковала). Тогда это было частым и очень опасным заболеванием, а она, будучи врачом, хорошо понимала нависшую надо мной опасность. Она постоянно давала мне пить рыбий жир, который я с отвращением глотал, и постоянно впихивала в меня разную пищу, которую я с такой же настойчивостью отвергал. На мои жалобы, что я толст, она постоянно отвечала, что такова моя «конституция». Впоследствии Лёша мне рассказал, что она просила его маму кормить меня за их столом, ибо я съедал все, что они ели, и съедал охотно. Сама она подглядывала за этой процедурой из-за двери и радовалась. Вся моя «конституция» развалилась в первые же дни войны, когда я попал в тяжкие и голодные условия существования и стал стройным и красивым парнем. Но об этом позже.

Ко всем указанным выше порокам добавлялось еще то, что я был вороват, но главным образом по отношению к книгам. При виде интересной книги меня охватывал трепет, и я делал все, чтобы ее получить или украсть. Я уже упоминал писательницу, которая жила в нашей квартире. Она была основным источником моего чтения. Из полученных от нее книг я вспоминаю «Маугли» Киплинга и «Сказки тысячи и одной ночи». Обе они произвели на меня неизгладимое впечатление, особенно «Маугли». Незабываемые сюжетные повороты, скульптурно вылепленные персонажи – сам «лягушонок» Маугли, пантера Багира, медведь Балу, змей Каа и другие – залегли в память навсегда. Елена Карелина была не единственным источником книг, я брал их везде, где только мог.

Много книг поступило ко мне от Лёши – его отчим специально брал для нас книги из закрытой библиотеки для художников. Все произведения Дюма-отца были нами прочитаны оттуда и стали смыслом нашей жизни и нравственным ориентиром. Оттуда же мне достался «Аббат» Вальтера Скота – я сумел эту книгу «зажилить», как тогда говорили. Мне годами потом сетовали по этому поводу члены Лёшиной семьи, но я не сдавался и продолжал утвер-

ждать, что «я не брал». Книга так и осталась вместе с другими моими приобретениями в осажденном Ленинграде и там пропала.

Мама обильно выписывала для меня детские газеты и журналы. Из них я получал текущую и идеологическую информацию, которой беспрекословно доверял. Я годами получал газету «Пионерская правда», журнал «Костер» и черпал оттуда сведения о победах советского народа на всех фронтах: об эпопее челюскинцев, о перелете Чкалова и его товарищей через Северный полюс в Америку, о войне в Испании, а перед самой войной и о захватах гитлеровцев в Европе и о прочих делах. Я с замиранием сердца следил за всеми перипетиями событий и был хорошо осведомлен о них. В этих же изданиях публиковались и целые книги, в частности фантастические произведения. Я ими наслаждался в полной мере. Хорошо помню фантастические романы Александра Беляева, Владимира Обручева, Лазаря Лагина и других. В поздние годы моей жизни я часто их вспоминал, когда осуществлялись предсказанные авторами события. Так, в одном из романов Беляева были описаны разговоры по личному телефону на улице. Тогда это казалось несбыточной мечтой, а сейчас...

Опишу еще один случай книжного воровства; он имел место за год до войны, летом 1940 года. В самый разгар лета я оказался в Ленинграде, что было необычно. Обычно я уезжал летом к тете в Невель, а тут мама послала меня в пионерский лагерь, и после своей смены я воротился домой. Несколько дней я бродил по городу и однажды очутился на Невском у детского книжного магазина, который потом стал лавкой Союза советских писателей. Я толкался вместе с другими, когда магазин открыли, и вместе с другими я вошел в него. Тут же образовалась очередь: «выкинули» книгу Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова». Я ее не читал, но знал имя автора и мечтал прочесть что-либо из его произведений. Мне там ничего не светило: у меня не было денег, и я бесцельно бродил из зала в зал. Вдруг я увидел на одном прилавке бесхозную книгу. Кругом не было ни души, видимо, кто-то ее случайно там оставил. С бьющимся сердцем я схватил книгу, сунул под рубашку и вышел из магазина. Умеряя шаг дрожащими ногами я отправился домой и счастливо туда добрался. Никаких моральных страданий я не испытывал, а только радость от обладания этим книжным сокровищем.

Летом, в период больших каникул, я обычно уезжал к своей тете Маше в город Невель (ныне Псковской области) и добывал там книги меньшего интеллектуального масштаба, но тоже интересные. Это были книги из местной библиотеки и серийные детективы, которыми увлекались мои двоюродные братья, – книги о Нате Пинкертоне и им подобная дребедень. Но и ее я поглощал в несметном количестве. Впрочем, попадались и стоящие произведения, например, книга Василия Гроссмана под названием «Степан Кольчугин».

Кроме книг, были, разумеется, и другие развлечения. Я был страстным поклонником театра и кино, которые в то время переживали несомненный подъем. И то, и другое было рядом с домом, да и цены были подходящие, поскольку я не помню затруднений по этому поводу. Кинотеатр «Правда» располагался в трех минутах ходьбы от дома, и я был его постоянным посетителем. Фильмов выпускалось мало, выход каждого из них обычно вызывал невероятную шумиху в газетах и по радио, так что я смог посмотреть все выходявшие на экран картины. Большинство из них легли в душу: и «Веселые ребята», и «Цирк», и «Семья Оппенгейм», и, конечно, «Остров сокровищ», который я посмотрел несколько раз. Запоминалась и музыка к фильмам; каждая песня сопровождалась особой ложившейся на слух мелодией, чего не скажешь о теперешних так называемых хитах.

Рядом с домом находился и один из самых успешных в те годы драматических театров страны. Он назывался тогда «Ленинградский академический Большой драматический театр имени М. Горького», а сегодня ему присвоено имя Товстоногова. Мама старалась водить меня в оперу, но я явно предпочитал драму и был частым посетителем БДТ. Его ведущих актеров – В. Я. Софронова, В. П. Полицеймако, О. Г. Казико и других – я с нежностью вспоминаю до

сих пор. Там ставились пьесы Шекспира, Ибсена и других великих; все они становились для меня событиями и формировали мое мировоззрение.

Любовь к театру имела некоторые довольно любопытные продолжения в моей жизни. Мама очень хотела приобщить меня к музыке и записала в районную музыкальную школу. Я проваландался там несколько несчастных для меня лет, так как никаких музыкальных данных у меня не было и нет. Ходил я туда как на каторгу, имел дневник, в котором отмечались мои успехи, вернее, неуспехи. За каждую двойку я лишался права посещать в очередное воскресенье театр. Тогда мы с Лёшей аккуратно исправляли двойку на тройку, и я получал право купить за мамины деньги билет на поход в театр. Затем, перед следующим уроком музыки, мы исправляли тройку на двойку и так продолжалось до момента, пока вместо отметки в дневнике появлялась дыра. Я получал взбучку, но несколько раз я смог сходить таким образом в театр.

Ходил я не только в горьковский театр, но также в ТЮЗ (Театр Юного Зрителя), в нынешний Театр Комедии, что на Невском над Елисеевским магазином, и в иные театры. Любовь к театрам была постоянной до выезда из Союза в Израиль, и совершенно прекратилась в Израиле. То ли возник языковой барьер, то ли характер игры и содержание постановок на соответствовали моим ожиданиям, то ли это было возрастным явлением, но данный печальный факт я не могу не отметить.

Мое нелепое музыкальное прошлое имело еще одно следствие. Мама в расчете на мои будущие успехи купила мне пианино. Она годами копила деньги на эту покупку и, наконец, свершилось. Ей удалось купить прелестный экземпляр Беккера, но я им не воспользовался. Пианино простояло беззвучно всю войну, потом все годы до нашей эмиграции. Вывезти его нам не дали – Беккер попал в список невыездных. Нам пришлось продать его и купить вместо него рояль. Уже в Израиле рояль был приведен в действие моим талантливым внуком и используется им до сих пор. Так что доброе дело обычно приносит свои плоды, хотя иногда и не сразу.

Теперь о внутренних событиях в нашей маленькой семье. Как я уже писал, мы в Ленинграде жили с одним из маминых братьев, моим дядей Гришей (в оригинале – Гиршем; на идише Hirsh означает «олень»). Странно, но я абсолютно не помню его визуально. Он отчетливо присутствовал на периферии моей жизни, но никак на нее не влиял. Помню лишь один пронзительный случай. Дядя сидел за столом с каким-то гостем, и они пили водку. Я поинтересовался, что такое они пьют. Дядя налил в стакан несколько капель и предложил попробовать. Мне тогда было лет девять или десять. Я проглотил налитое, закашлялся и выскочил из-за стола. Дядя и гость засмеялись, но мне было не до смеха. Долго еще я испытывал неприязнь к этому напитку, пока в старших классах школы не приобщился к выпивке. Однако пил я всегда в меру и не чувствовал никакой зависимости от зелья, коим славится земля русская. Дядя Гриша погиб во время блокады Ленинграда в Отечественную войну. Просто исчез, как будто не жил. Нас с мамой рядом не было, мы были в эвакуации.

Кроме дяди Гриши других маминых братьев я до войны не встречал. Зато с ее единственной сестрой, тетей Машей, я был знаком очень хорошо. Это была как бы моя крестная мама, потому что ее муж, дядя Исаак, держал меня на руках во время обрезания. Этот обряд по религиозной еврейской традиции означает приобщение евреев к Богу, символизирует союз с Богом всех младенцев мужского пола. Он столь же естественен для евреев, как крещение для русских, и даже самые отпетые атеисты вроде меня не в силах от него отказаться. Ко мне тетя и дядя относились как к собственному сыну, и до войны я ежегодно проводил у них большую часть летних каникул. У них было два сына – Меир был старшим, а Гавриил (для близких Гава) был моего возраста и главным моим покровителем в чуждой для меня обстановке провинциального окружения. Они же спасли мне жизнь в первые месяцы войны, о чем я подробно расскажу далее.

Если уж зашел разговор о еврействе и еврейской традиции, я хотел бы его продолжить. Моя мать и ее поколение относились к тем евреям, которые почувствовали себя освобожденными революцией от ограничений и гонений, которым подвергались в царской России. Поэтому они с таким энтузиазмом приветствовали Октябрьскую революцию и способствовали ее начинаниям. В первые годы Советской власти они широким потоком влились в ряды строителей нового общества и добились в этом деле значительных успехов. Когда Сталин выкорчевывал наивные лозунги свободы, равенства и братства из реальной жизни страны, он не забыл и роль евреев в осуществлении революционных преобразований. По его собственному признанию он «подобно Моисею вывел евреев из Политбюро», да и из всех верхних эшелонов власти вообще. Последующие властители страны вплоть до перестройки придерживались такого же курса.

Пережить и принять два таких решительных поворота (сначала к полной свободе и даже привилегированному положению, а затем к числу вытесняемого и подвергающегося ограничениям меньшинства) удалось очень малому числу евреев. Поколение моих родителей в основном оставалось до конца приверженцами советских лозунгов, одновременно находясь в плену старых традиций. А новое поколение евреев, видя то, что происходит в стране, постепенно освобождалось от фальшивых заверений и училось бороться за свою независимость. Этот последний путь прошел и ваш покорный слуга.

В такой ситуации неизбежны нестыковки, некоторые из них я обнаруживаю и в своей судьбе. Первое, что приходит на ум, – это ситуация с моим именем. Меня называли Абрамом по деду с отцовской стороны. Он жил в Литве и был по тем временам довольно продвинутым человеком, поскольку исправлял должность присяжного поверенного в маленьком городке по имени Свенчоне. Позднее, попав в Литву, я нашел его могилу на местном еврейском кладбище. Могила уже наполовину вошла в землю, надгробный камень валялся рядом. Я прочел на нем надпись на идише, удостоверявшую, что в могиле похоронен именно мой дед. Водрузив камень на место, я сфотографировал могилу и привез фотографию папе. Он был счастлив. По его реакции я понял, насколько он был привязан к деду, чем и объяснялось то, что я был наречен в честь него. Кстати, деда убили польские жолнеры, захватившие часть Литвы сразу по окончании Первой мировой войны, просто потому, что он был пейсатый еврей, одетый в длинный черный халат.

Имя Абрам не принесло мне счастья ни в детстве, ни в юности. Большинство антисемитских анекдотов имели своими героями именно Абрама и Сарру. Хорошо осведомленный об этом, я всячески увиливал от того, чтобы представляться как Абрам. В детстве я пользовался именем, которым называли меня в обиходе, – Бом; в юности представлялся при знакомстве с девушками как Борис или еще как-либо. Лишь в Израиле я стал полноценным Абрамом, и в таком статусе пребываю до сих пор.

Я не помню чрезвычайных антисемитских выпадов в свой адрес во дворе: меня охотно принимали в общие игры и не оскорбляли словесно либо физически. Зато разговоров относительно «презренных евреев вообще» я наслушался вдоволь. Вспоминается эпизод в пионерском лагере, когда мне было 11 или 12 лет. Я сблизился с мальчиком моего возраста, и мы с ним прекрасно проводили время, пока однажды он не выдал при мне тираду о том, что евреи, мол, вредный народ, и что Гитлер прав, когда их уничтожает. Это, несомненно, было повторением речей, которых он наслушался в семье, потому что ко мне он относился вполне прилично. После этого я порвал с ним отношения, но долго раздумывал о том, почему так относятся к евреям и как надо себя вести по этому поводу. Всякий раз у меня появляется неприятный привкус во рту, когда я вспоминаю об этом эпизоде.

Я упомянул только что пионерский лагерь – расскажу о нем. Обычно на летние каникулы мама спроваживала меня к тете Маше в Невель. Одним летом ей удалось достать путевку, и она отправила меня в пионерский лагерь, который располагался на Карельском перешейке

недалеко от Ленинграда. Стало быть, это было после финской кампании, когда Советы захватили Карельский перешеек. Лагерь оказался привычной организованной тусовкой подростков, имевшей своей целью их дальнейшее идеологическое оболванивание. Тем не менее, мне есть что вспомнить именно об этом лагере, где я попробовал себя в незнакомом детском коллективе. Я чувствовал себя в своей тарелке, быстро подружился с несколькими ребятами, принимал участие в спортивных играх, шутил, пел и веселился.

Во главе нашего отряда оказался симпатичный воспитатель. Он покорила меня тем, что пересказывал нам разные книги и фильмы, которые он видел, а мы нет. Его рассказы я обо-жал. До сих пор помню сагу о Зорро, герое из Мексики, который горой стоял за угнетенных и обиженных. Он «одним махом семерых убивахом», и это привлекало больше всего. Прилагаю групповую фотографию из лагеря (я – первый слева в нижнем ряду). На обороте этого фото наш воспитатель написал: «Будь таким же веселым, но дисциплинированным».



О тогдашних настроениях советской молодежи говорит и следующий инцидент. Как-то мы строем пошли на прогулку. Вдруг навстречу нам попался человек, который почему-то привлек наше внимание: то ли он был одет необычно, то ли вел себя не так, как другие. Нас охватило массовое помешательство, и мы решили, что он вражеский шпион. Мы его просто-напросто задержали и доставили на ближайший пост милиции, где его расспросили и отпустили. Помню, я был полностью убежден, что он шпион, который подсматривал (что там было подсматривать?) и сообщал об этом своим хозяевам. Эпизод этот незначителен, но говорит о том, как жители страны были настроены по отношению ко всему необычному и подвержены пропаганде недоверия и вражды к инородному, что вполне совпадало с царившей тогда шпиономанией и страстью защитить отечество рабочих и крестьян. Весьма характерная черта прошлой, да и сегодняшней России.

В целом у меня от лагеря остались весьма теплые воспоминания. Я был свой среди своих и легко вписывался в детское окружение. Вообще у меня не было тогда никаких сомнений по

поводу достоинств и преимуществ советской власти. Я часто размышлял на тему о том, как мне крупно повезло родиться в такой прекрасной стране, где все равны и где мне предоставляются все возможности проявить себя на равных условиях со всеми прочими. Как мне повезло родиться, например, не в Соединенных Штатах, где угнетают негров и рабочий класс. Лишь когда я вырос и на своей шкуре почувствовал, что ко мне относятся совсем по-другому, нежели к представителям титульной нации, у меня появились первые робкие сомнения в правильности пропагандистских заверений, которые я ежедневно получал из разных источников в огромных количествах. Но до этого было еще далеко. Должна была состояться война и прочие гнусные события, поломавшие мое спокойное и мирное существование.

2. Начало войны

Вторая мировая война началась нападением Германии на Польшу, но к нам она фактически пришла в период финской кампании. Ленинград находился в эпицентре событий этой «малой войны» по своей близости к фронту и по вовлеченности в военные события. Помню мрачные зимние месяцы 1939 года, введенную в городе светомаскировку и длинные очереди за продуктами. Мама не справлялась с очередями, и мне приходилось часами стоять в них для покупки ограниченного уже тогда ассортимента продуктов. Впрочем, когда в Советской России было изобилие продуктов? Помню и магазин, где мы обычно «отоваривались», он находился на углу Загородного проспекта и Звенигородской улицы. Был жуткий холод, и я отбивал ногами чечётку, чтобы как-то согреться. Помню недовольные физиономии соседей по очереди и иногда срывавшиеся у них замечания в адрес властей. Это меня жутко бесило, так как я был уверен, что наши руководители во всем правы.

Все это было лишь слабой прелюдией к тому, что нас ожидало в большой войне. Страна сама к ней стремилась, чтобы утвердить строй, похожий на советский, во всем мире. Песня «Если завтра война» раздавалась из громкоговорителей на каждом углу. Я был уверен, что если война произойдет, то мы всех фашистов перебьем запросто. Мирная интерлюдия между двумя войнами была счастливым, но быстротечным эпизодом. Период передышки по иронии судьбы был заполнен мирным договором СССР с гитлеровцами и нашей активной помощью Германии, позволившей ей быстро подготовиться к нападению на нашу беспечную державу с ее «мудрым» и «великим» вождем. Он не только прошептал начало войны, но позаботился обескровить свою армию террором против ее командного состава, а также предоставил Германии все необходимое для ведения войны. Отсюда и кошмар 1941 года.

Мне и моей маленькой семье довоенное время казалось безоблачным. Занятия в школе шли своим чередом, мы с мамой отделились от дяди, приобретя отдельную одиннадцатиметровую комнату в Лештуковом переулке. Это было совсем близко от прежнего нашего жилья, и я продолжал поддерживать прежние связи со своими дворовыми друзьями. В начале июня 1941 года мама отправила меня к тете Маше. Ничего не предвещало каких-то потрясений.

Помню 22-е июня как сегодня. Мы с Гавой пошли на пляж купаться и, возвращаясь, увидели толпу народа, слушавшего радиопередачу под большим тарелочным репродуктором. Мы присоединились к ним. Это была речь Молотова о нападении фашистов и объявлении войны с Германией. Люди расходились сумрачные, погруженные в свои думы. Я шел домой, ликуя. Вспоминаю свои бредовые пионерские размышления: «Наконец-то наступил решающий момент. Это – столкновение двух противоборствующих систем. Никакого сомнения – через пару месяцев мы будем в Берлине, и страна заживет еще лучше».

Следующие несколько дней оставались внешне спокойными, хотя были заполнены нервными событиями. Меир, старший сын в семье, только что закончил выпускной год в школе. Он был комсомольцем и немедленно завербовался в народное ополчение. Ему выдали винтовку, и он уходил куда-то патрулировать по улицам города. Дядя по приказу сверху выкопал большую яму во дворе нашего дома, где могли прятаться от бомбардировок члены семьи и наши соседи. Он накрыл яму бревнами, и это оказалось самым мудрым поступком из всех прочих событий того времени. Мы, мальчишки, все воспринимали как незначительные детали, и никакого значения им не придавали. Все было максимально интересно и будоражило, но конкретный смысл происходящего был нам недоступен. Я продолжал читать книги про Ната Пинкертон и обращал мало внимания на окружающих. Когда над городом пролетали самолеты, мы забирались на крышу нашего дома (это было деревянное одноэтажное строение, и мы забирались на крышу по обычной приставной лестнице). Оттуда наблюдали за самолетами.

Все мгновенно изменилось утром 8-го июля. Послышался шум моторов, и мы с Гавой бросились на крышу. Самолетов было необычно много, и они летели звеньями по три-пять машин. Вдруг я увидел, что от самолетов отделяются какие-то предметы и летят к земле. Послышались многочисленные взрывы и мы поняли, что город бомбят. Мы немедленно скатились на землю и побежали к вырытой дядей яме. Там уже были напуганные взрывами люди. Яма быстро наполнялась. Последним спустился дядя. Он сидел в доме и читал газету; так, с очками и газетой в руках, он спустился в убежище и закрыл за собой входной люк. Количество взрывов возрастало, стенки ямы ходили ходуном и грозили обвалиться. Все испуганно сидели и молчали. Наконец бомбежка прекратилась, и мы вышли наружу.

Мы обнаружили совершенно иной мир. За каких-то полчаса немцы разрушили город, превратив его в пылающий пожарами и бегущими людьми ад. Соседний дом, находившийся от нас через улицу, был разрушен и горел. Во дворе нашего дома я увидел огромный камень от фундамента этого дома, переброшенный взрывом через улицу и входные ворота к нам во двор. По улице в разные стороны бежали обезумевшие от страха жители. Дядя собрал нас в доме и приказал собираться, чтобы вместе со всеми бежать из города. Нас было четверо: дядя, тетя, Гава и я. Меир с утра ушел патрулировать, но мы его дожидаться не стали. Все были объаты ужасом и стремились поскорее выбраться из города. Я быстро кинул в заплечный рюкзак несколько книг (больше мне было взять нечего), взрослые нагрузились более практически значимыми предметами, и мы присоединились к бегущей и кричавшей в истерике толпе.

Это было незабываемое зрелище, подобное картине Брюллова «Последний день Помпеи». Поток людей с обезумевшими лицами, в спешно накинутой одежде, крича или бормоча что-то и поддерживая друг друга, устремился из города. Кто-то ехал на телеге, кто-то толкал в коляске старика или больного родственника – все двигались неизвестно куда, стремясь поскорее выбраться из горящего города. Мы присоединились к потоку и вскоре вышли из толкучки куда-то в поля. До ночи мы шли куда глаза глядят и остановились в темноте около скирды сена. Дядя пошел в рядом стоявший дом и купил молока и хлеба. Перекусив, мы легли спать в той же скирде и провели там ночь. Проснувшись, дядя сказал, что мы движемся в сторону наступающих фашистов, и мы решили вернуться в Невель и разыскать Меира. Так мы и сделали. Вошли в покинутое в спешке жилище, помылись, перекусили и... решили, не дожидаясь Меира, покинуть город и двигаться по направлению к Великим Лукам, где проходила железная дорога и где мы могли уехать на восток.

Это решение спасло нам жизнь. В течение всей войны тетя и дядя надеялись, что их сын примкнул к партизанам и остался в живых. Увы, вернувшись домой уже после войны, они узнали, что он погиб во время описанной мной бомбежки. Он забежал в какой-то подъезд, чтобы укрыться, но бомба попала в дом и его задавило обломками. Своими решительными действиями дядя спас нас от немцев. Если бы мы остались в Невеле на день или два, даже на несколько часов, мы бы попали в руки немцев и были бы наверняка уничтожены. Мы шли по дороге в Великие Луки больше недели. Война уже добралась до этих мест, и нам приходилось отклоняться от дороги, чтобы не попасть в руки гитлеровцев. Мы выбивались из сил, когда нас нагнала полуторка с красноармейцами. Они посадили нас в машину и довезли до Великих Лук.

Привокзальная площадь кишела беженцами. Они лежали, ходили, добывали пропитание в ожидании поезда на восток. Наконец, по истечении нескольких дней, подали поезд с прицепленными к нему товарными вагонами. Кто позаботился о нас, не знаю, но это был дар небес. Вагоны с ходу занимались желающими и набивались до отказа, до невозможности передвигаться среди расположившихся на нарах и на полу, в проходах между нарами, людей. Нам удалось протиснуться среди первых и обеспечить себе лежачие места. Вскоре поезд тронулся. Маршрут движения не был известен, но поезд двигался в сторону от фронта, в центральную Россию, куда еще не пришла война.

Поезд метался по дорогам несколько недель, железнодорожникам было не до нас – они, естественно, уступали трассу военным грузам, а нас толкали и перебрасывали с пути на путь, пока не появлялась возможность отправить поезд дальше на восток. Наконец, в последних числах июля, мы прибыли в Ярославль, где остановились в ожидании открытого пути дальше, в сторону Иванова. Но мы дальше не хотели; у тети Маши в Ярославле жил брат, мой дядя Соломон. Он занимал какой-то руководящий пост на обувной фабрике. Дядя Исаак вышел из поезда, нашел телефон и позвонил ему. Вскоре Соломон (я видел его первый раз в жизни) появился у вагона, снял нас с поезда и отвез к себе.

Несмотря на занимаемую должность, дядя Соломон со своим многочисленным семейством жил в крошечной квартире. Дядю и тетю устроили на полу в самой квартире, а Гаву и меня отправили в дровяной сарай, где нам постелили прямо на дровах и предложили располагаться. После мытарств предыдущих недель мне такой расклад представлялся вполне комфортным. Я лег на поленицу и заснул. Так продолжалось несколько дней. Все было бы хорошо, но меня преследовала мысль о маме – она ведь не знала, что с нами, и я представлял себе ее отчаяние. Я был основным смыслом ее жизни... и что теперь?

В одно прекрасное утро я проснулся от вздохов и рыданий, открыл глаза и... увидел маму. Она стояла рядом с поленицей и обливалась слезами. Бедная мама! Как она позднее мне призналась, все эти дни она думала о самоубийстве. Еще бы. О нас ни слуху, ни духу. По газетам и радио шли сводки Информбюро, а в них сначала «Упорные бои на Невельском направлении», а потом и «...на Великолукском». В переводе на простой русский язык это означало, что Невель был уже немцами взят, а ее сын и семья сестры попали в руки немцев либо убиты. Что ей оставалось делать? К счастью, подвернулось предложение сопровождать в качестве врача ленинградских детей, которых эвакуировали из города, уже находившегося в опасном положении. Местом назначения называли Ярославль, и маме пришлось в голову повидаться со своим братом и, может быть, что-то разузнать о нас. Она приняла предложение и укатила в восточном направлении; их высадили в Тутаевском районе Ярославской области.

Тутаево – небольшой городок на Волге, около 50 километров по реке выше Ярославля. Устроившись на новом месте, мать села на пароход в Ярославль и обнаружила меня в сарае у своего брата Соломона. Радости не было предела. Побыв несколько дней в Ярославле, мама забрала меня, и мы приехали в место нахождения детского интерната, который она обслуживала. В нем были собраны дети работников типографского центра, на базе которого выпускалась газета «Ленинградская правда». Я влился в детский коллектив интерната без особого труда. Мы не особо подружились, но меня охотно принимали в игры и в другие детские тусовки. Питался я вместе с остальными, но жил с матерью отдельно в снимаемой нами комнате. Мама обслуживала не только этот интернат, но все интернаты детей из Ленинграда, которые были эвакуированы в Ярославскую область. Так продолжалось и позднее, когда мы переехали на новое место, но об этом я расскажу особо.

В Тутаево меня ожидал приятный сюрприз. Не помню, каким образом, но до меня дошли сведения, что мой друг Лёша тоже был эвакуирован и вместе с детьми ленинградских художников жил неподалеку от Ярославля, в месте, которое называлось, кажется, Красным Бором. Я немедленно стал просить маму, чтобы она разрешила мне туда поехать. Она долго не соглашалась, но потом мне все-таки удалось ее уговорить. Я взял у нее немного денег, приехал к дяде в Ярославль, а оттуда взял билет на поезд до Красного Бора. Как позже выяснилось, это было такое же безрассудное приключение, как побег в Африку, но мне опять повезло. Я доехал до Красного Бора, сошел с поезда и стал спрашивать, как мне попасть в интернат, где жили ленинградские дети. Первый же мужик, к которому я сунулся с расспросами, возмутился: «Ты что, малец, охренел? Дотудова двадцать верст, куда ты попрешься на ночь глядя?» Я был обескуражен и не знал, что ответить. Тогда он предложил: «Знаешь, что? Пойдем ко мне. Переночуешь, а завтра утром пойдешь со мной. Мне в ту же сторону». Я, разумеется, согласился.

Новый знакомый привел меня к себе в дом, накормил и уложил спать. Проснулся я рано утром от громкой ссоры. В соседней комнате спорили мой покровитель и, как я понял, его жена. Она кричала: «Опять ты к своей поблядушке потащился? Иди, но сюда не возвращайся! Придешь, я положу тебя, как вон того мальчика, и все». Я быстро собрался и, выбравшись из дома, сел на завалинке. Вскоре вышел мой покровитель и пригласил меня внутрь. Мы поели и отправились в путь. Шли мы много часов, и я представил, в какую передрыгу бы попал, если бы не встретил моего спутника.

Мы пробирались лесом, по бездорожью, и у меня уже подкашивались ноги от усталости, когда мой благодетель объявил привал. Сжевав по изрядному ломтю ржаного хлеба, мы двинулись дальше, пока на какой-то поляне не показалась бревенчатая изба, из которой нам навстречу выбежала прелестная молодая женщина. Она бросилась в объятия моего спутника, и я понял, почему он решил мне помочь: я стал благовидным предлогом для его отлучки из дома. Он еще проводил меня немного и показал дорогу до пионерского лагеря, где располагался интернат для детей членов Союза советских художников. Публика здесь оказалась намного интересней, чем в интернате возле Тутаева.

Лёша принял меня с распростертыми объятиями и представил своим приятелям. Мне тотчас же поставили койку в комнате старших ребят, где я и расположился. Кормили меня наравне со всеми, с ними же я отправлялся на работу и играл в волейбол и в футбол. Позабыв счет дням, я даже не подумал сообщить маме о том, что происходит. Через некоторое время, обеспокоенная моим молчанием, она сама приехала и забрала меня к себе. Но мы успели обменяться с Лёшей адресами и всю войну поддерживали переписку друг с другом. Вскоре он уехал жить к своим родственникам на Южном Урале, но продолжал держать меня в курсе событий.

Мы вернулись с мамой в Тутаево, но прожили там недолго. Был август 1941 года, и немцы быстро углублялись в центральную часть страны. Кто-то решил переместить ленинградских ребят подальше от сражений в сторону Урала. В один прекрасный день был подан пароход, нас погрузили на него и мы поплыли вниз по Волге, а потом и вверх по ее притоку, Каме. Плыли мы долго, полагаю, пару недель. К концу путешествия, когда мы приблизились к Уральским горам, настала холодная и снежная погода. Достигнув небольшого прибрежного городка по имени Оса, мы покинули пароход и разъехались по приготовленным для нас местам. Наш интернат попал в село Чисто-переволока Черновского района Пермской области (тогда она называлась Молотовской). Интернат разместили в нескольких больших домах, а мы с мамой сняли комнату в доме неподалеку. С этого момента начался новый этап в моей жизни, этап сравнительно стабильной жизни вдали от фронта и от знакомой мне цивилизации.

3. Приуралье в годы войны

Мы приехали в Чистопереволоку в октябре 1941 года. Учебный год уже начался, и я пошел в седьмой класс местной школы. Учиться после ленинградской школы было совсем легко. Мои главные усилия и интересы были направлены на ознакомление с местной обстановкой и приспособление к ней. Я открыл для себя иную страну. Все было другим – пейзаж, язык, нравы. Должен признаться, что мне нравились эти перемены. Я с удовольствием включился в новый ритм жизни и в преодоление препятствий, которые возникали на каждом шагу. Из мечтательного и увесистого кабинетного мальчика я быстро превратился в охотника за приключениями. Это было несложно: интеллектуально я намного превосходил моих деревенских сверстников.

Несмотря на всю парадоксальность, мне впоследствии приходила на ум мысль о том, что война – горькая пора для страны и всего народа – оказала на меня благотворное влияние. Я увидел огромную страну не через призму печатных страниц, а вживую. Ее необозримые просторы, лесные массивы, настоящие, а не книжные звери, встречи с разнообразными людьми в корне изменили мой духовный мир. Я учился жить и бороться не с выдуманными героями, а с реальными обстоятельствами. Впоследствии это сослужило мне хорошую службу. Так продолжалось все три года, что я провел в Приуралье. Довоенный жирок мой вскоре превратился в мускулы, и я стал крепче стоять на ногах.

Там была длинная и холодная зима. Все мальчишки отлично катались на лыжах. Мне пришлось овладеть этим видом передвижения, а сам лыжный спорт стал для меня одним из самых любимых. Через село протекала небольшая, но бурная речка, через которую был перекинут деревянный мост. Ближе к лету местные ребята прыгали с него в воду. Несмотря на жуткий страх, который меня обуревал (до воды было 3–4 метра), я заставил себя тоже прыгнуть с моста. На крыше дома, где мы жили, вырос двухметровый сугроб. Старушка-хозяйка попросила меня залезть на крышу и скинуть снег лопатой. Я это сделал и безумно гордился своим «подвигом». Я стал специалистом по сбрасыванию снега с крыш, и некоторые «эвакуированные» (так называли беженцев из охваченных войной районов страны) приглашали меня это сделать на их домах. Так я познакомился с одной семьей из Ленинграда, которая жила неподалеку от нас. Она состояла из матери и двух ее детей – сына и дочки. Девочка эта стала впоследствии моей женой.

В интернате я превратился в одного из лидеров. Чтобы утвердиться в этом качестве, мне порой приходилось идти на безрассудные поступки. Опишу один из них. В августе следующего, 1942 года, я предложил трем моим интернатским приятелям отметить годовщину отъезда из Ленинграда. Для этого ночью мы разобрали стену сарая, где хранились продовольственные запасы интерната, и украли оттуда некоторые продукты, правда, в небольшом количестве. Закрыв снова стену выдернутыми из нее бревнами, мы преспокойно удалились. На завтра пошли разговоры о краже, но настоящих преступников не нашли, и подозрение пало на местную ребятню. Так что наш проступок не был раскрыт. Следующей ночью мы забрались в курятник, скинули сидящих на насесте кур и забрали снесенные ими яйца. На этот раз на крыльцо выбежала хозяйка дома, но мы убежали оттуда вместе с нашей добычей и слушали ее проклятья издали. После этого мы устроили пир, вспоминали свой город и были весьма довольны собой. К счастью, такие мерзопакостные дела я больше не повторял.

О местной школе воспоминаний у меня почти не осталось. Помню только, как я сокрушался, что у нас нет уроков иностранного языка, видимо, не было преподавателей. В Ленинграде я изучал немецкий язык и хотел продолжать его изучение, но не тут-то было. Лишь в следующем году я продолжил заниматься немецким, но уже в другой школе. Помню один вечер, проведенный с двумя местными молодыми учительницами. Я и еще несколько ребят из моего

класса оказались в комнате одной из них, и они принялись обучать нас танцам. Заводили старинный граммофон, на него клались пластинки и мы под них танцевали. Музыка лилась из огромного раструба, помню вальс «Амурские волны». Близость одной из учительниц волновала меня, но я не рискнул сделать что-либо, прижать ее к себе, например, хотя очень хотелось. Мне было всего четырнадцать лет. Все же некоторые эротические позы явно присутствовали с обеих сторон: и у подростков, достигших возраста половой зрелости, и у молодых учительниц, которые, приехав после пединститута в глухую провинцию, чувствовали себя одинокими и обделенными мужской лаской. Впрочем, это ощущалось по всей стране, ведь почти всех мужчин призвали в армию.

Так прошел год, я окончил седьмой класс и вынужден был переехать в районный центр, в Черновское. Там была школа-десятилетка. За мной переехала и мама; она продолжала исполнять должность врача во всех детских интернатах района – было четыре интерната с ленинградскими детьми в районе. Она их навещала, но базировалась в райцентре. Нам дали небольшую квартирку, состоявшую из одной комнаты и кухни. В кухне находилась большая русская печь, с помощью которой мы могли отапливаться. Пища готовилась на примусе. Там нам предстояло жить, но судьба на этот раз отвернулась от меня.

Не успели мы обжиться на новом месте, как мама сильно заболела. Она заболела малярией, ей дали хинин, и она, что называется, «съехала с катушек» (сегодня сказали бы «крыша поехала»). Она перестала понимать окружающих, стала вести себя буйно, и ее пришлось срочно госпитализировать. Впоследствии установили, что у нее аллергия на хинин и поэтому она вела себя подобным образом. Я пришел домой, узнал от соседей, что случилось с мамой, и побежал в больницу. Мама бушевала в коридоре, на меня не реагировала. Ее при мне завернули в какой-то халат и увели. Я пошел домой, плача по дороге. Утром узнал, что в больнице не смогли диагностировать заболевание и отправили маму в Молотов самолетом в больницу для душевнобольных. Так я остался совершенно один.

Питались мы за мамин счет в общественной столовой, а теперь у меня не было денег, чтобы платить за еду. Несколько дней я прожил, доедая остатки пищи; наконец, у меня не осталось ничего и я стал голодать. Знакомых тоже не было. Потом я вспомнил, что ходил с мамой к какой-то учительнице по поводу поступления в школу и отправился к ней снова, как будто бы по поводу той же школы. Она оказалась эвакуированной откуда-то с Украины, звали ее Лидия Ивановна, и она преподавала математику. Я рассказал ей, что произошло со мной, вышел от нее и побрел домой. По дороге я увидел чей-то огород, перемахнул через ограду, вытащил несколько морковок и быстренько их съел. Потом пошел дальше. Оказывается, Лидия Ивановна видела это из окна. Она быстро собралась и пошла к директору интерната, его звали Зельдин Аркадий Семенович. Она потребовала, чтобы он забрал меня к себе, что он и сделал, послав ко мне курьера. Тот попросил меня прийти в интернат. Меня немедленно зачислили туда на государственное обеспечение в отряд для ребят старшего возраста.

Все мгновенно изменилось. Теперь я не голодал, включился в дружелюбный для меня коллектив и быстро занял в нем достойное место. Наш отряд выполнял наиболее трудоемкие работы: мы заготавливали в лесу дрова на зиму, рубили жерди для огородов, обеспечивали кухню водой для приготовления пищи, не говоря уже об удовлетворении культурных потребностей ребят разных возрастов – выпуск стенгазеты, подготовку линеек и вечеров и прочее в том же духе.

Я беспрекословно выполнял все поручения, осознавая, что интернат спас меня от голода и беспризорности. Все работы я делал с охотой, несмотря на сильную близорукость. С первых классов школы я носил очки. Их я разбил еще в Тутаеве во время футбольной игры и с тех пор до конца войны не мог восстановить. Это не мешало мне валить деревья и очищать их от сучьев, доставать воду из колодца, окруженного ледяными наростами приличной высоты, и приносить на кухню до двадцати ведер для ее использования в течение дня. Мы также очищали

нужники от их смрадного содержимого, делая это также с помощью ведер. Я приучил себя выполнять такую работу без особого отвращения.

Аркадий Семенович, с которым мы жили душа в душу, использовал меня больше по культурной части. Я активно участвовал в выпуске стенгазеты, сочинял и произносил разные лозунги, и несколько позднее представлял интернат в школе. Но было еще лето и школа была впереди. Однажды в конце августа Аркадий Семенович вызвал меня к себе и сказал: «Я знаю, что мама твоя болеет и находится в Молотове. Ко мне обратились с просьбой выделить несколько воспитанников старшего возраста, чтобы гнать коров по мясозаготовкам отсюда до Молотова. Дело это нелегкое, коров будет много. Во главе будет стоять пожилой колхозник, а с ним будет еще несколько девочек, его помощниц. Но мальчиков у них нет и они просят нашего участия. Ты согласишься туда пойти? Там повидаешься с матерью». Я тут же согласился. «Ну что же. Тогда собирайся. Ты будешь старшим, а в группе будут еще Витя Козлов и Жора Павлов».

Я знал обоих мальчиков. Витя был разбитным малым, но учился плохо и остался на второй год в восьмом классе, а Жора был мрачным и замкнутым парнем. Однако в ходе всего нашего похода между нами ссор не было, ибо я никак не выказывал себя начальником. Все брал на себя пожилой колхозник, который рассказывал и показывал, что надо делать. Нам предстояло пройти более двухсот километров со стадом примерно в 300 голов скота. Это были коровы и восемь или девять огромных быков, которые доставляли нам много хлопот. Мы с утра собирали стадо, колхозник отвязывал быков, которых вечером уже на новом перегонном пункте он снова привязывал к специально поставленным там крупным столбам. Каждый день мы перегоняли стадо от одного пункта отдыха до другого. Таких пунктов насчитывалось около пятнадцати, так что в дороге мы были около двух недель.

В первые дни я очень нервничал. Мы гнали коров по дороге в открытом поле и в лесу. Гнать по лесу называлось «идти волоком». В лесу коровы разбредались и начинали жевать листья и траву. Я очень боялся, что они отстанут от стада и бегал за каждой из них, пригоняя ее в строй. Но они упорно от меня уходили, и я от изнеможения плакал. Потом я увидел, что если собиралась вместе критическая масса животных и шла вперед, отставшие прибивались к ним самостоятельно. Вскоре я по привычке, и жизнь моя облегчилась. Смятение в стадо вносили быки. Они при первой возможности залезали на коров и начинали совокупляться. При этом соседние животные разбегались в стороны и нормальный гон прекращался. С быками мы замучились и довели их только до половины, до перегонного пункта в городишке Чистобе. Там мы их оставили и продолжали свое путешествие только с коровами.

Мы благополучно и без потерь пригнали стадо в город Молотов, который казался нам огромным мегаполисом по сравнению с Черновским. Я помню, как мы гнали коров по людным улицам города и привели их прямо на мясокомбинат. Их немедленно отправили на скотобойню. Не знаю, как остальные, но я чувствовал жалость к животным, с которыми близко познакомился за время путешествия. Я не остался ни минуты на мясокомбинате, чтобы не смотреть на убийство своих подопечных, велел ребятам идти на пристань и дожидаться меня там. Сам я побежал в больницу, где должен был встретиться с мамой. Больница находилась вне города, я добрался до нее на автобусе. Когда я спросил про маму, мне в регистратуре ответили, что ее несколько дней назад отправили домой. По мнению врачей она выздоровела, но была настолько слаба, что ее сопровождала санитарка из больницы. Санитарка уже вернулась, а мама осталась в Черновском. Я поспешил на пристань, мы купили билеты на пароход и через несколько дней были дома.

Маму я нашел у нас в квартире и поразился ее виду – она походила на узницу концлагеря. Похоже было, что ее вовсе не кормили в этой самой больнице. Она совсем не обращала на меня внимания и проводила все время возле городских столовых. Там она ела, ела, ела, пока

через несколько недель не вошла в норму, и жизнь наша наладилась. Мама возобновила свою работу врача, а я пошел в школу, в восьмой класс.

Школьный год уже начался, когда я пришел в класс, но вхождение в новую обстановку оказалось простым и плавным. Я получил место в первом от доски ряду и стал принимать живейшее участие в учебной жизни. Учиться в новой школе оказалось куда интересней, чем в старой. Захватывали уроки по биологии, вернее, по теории эволюции Дарвина. Возобновились мои занятия немецким языком. Его преподавал поляк, попавший в Россию после захвата ею западных территорий Украины и Белоруссии. Он очень скоро исчез – то ли записался в армию Андерса, то ли его отослали еще куда-нибудь. Но самыми любопытными для меня стали уроки русской литературы. Предмет этот вел учитель из Украины, не помню его по имени. Он был освобожден от армии по состоянию здоровья, бежал со своей семьей от немцев и очутился в Черновском. Свои уроки он вел нестандартно. Зачастую это были целые лекции, как в вузе, и он посвящал им весь урок. Такую лекцию про Иудушку Головлева я помню до сих пор. Нас он учил думать и рассуждать, а не просто читать книги.

Именно на его уроке произошло событие, установившее мои позиции в классе. После разбора «Слова о полку Игореве» было задано домашнее сочинение на ту же тему. Шел второй год кровавой войны, меня переполняли патриотические чувства, и я излил их на бумагу. Но до того, как я вручил свое сочинение преподавателю, ко мне подошел Витя Козлов (я писал о нем выше) и попросил меня дать ему мое сочинение почитать. Я охотно выполнил его просьбу. На следующем уроке учитель начал раздавать работы, кратко комментируя каждую из них. На его столе оставались две тетрадки.

– Козлов, встань-ка, братец, – начал он, – скажи мне, ведь ты списал сочинение у Соломоника? Твои возможности я знаю, ты сидишь здесь второй год. Ну же...

Заплетающимся языком Витя пробормотал что-то невнятное.

– Садись, дружок, тебе я ставлю двойку. А теперь ты, новый пришелец. Ты давал ему списывать свое сочинение?

– Давал...

– Тогда ты получаешь четверку вместо пятерки, которую заслужил. Послушайте-ка ребята его работу, из него может получиться кое-что в литературе.

И он полностью зачитал мое сочинение. Я сидел гордый собой, как тысяча глупых гусынь, но моя роль в классе была уже установлена. Я принимал участие во всех литературных начинаниях нашего преподавателя. Он организовал в школе драматический кружок, который ставил такие пьесы как «Русские люди» Константина Симонова и другие актуальные вещи. Я всегда принимал участие в его проектах, получая от них неизменное удовольствие.

В классе было немало местных ребят, но тон задавали, несомненно, эвакуированные. Часть из них жила в интернате, часть – со своими родителями, которые к интернату не имели никакого отношения. Изрядная доля эвакуированных была из Ленинграда и мы, естественно, кучковались вместе. Вспоминаю двух девочек – Маню Неймарк и Валию Яковлеву. С Маней я контактировал после войны в Ленинграде. Она закончила философский факультет Университета по специальности психолога и позднее стала известной ученой в этой области, работая в Москве с популярной в кругах педагогов Лидией Ильиничной Божович. Маня впоследствии уехала с семьей в США, и я встречал ее в Нью-Йорке. А судьба Вали Яковлевой, в которую я был безнадежно влюблен во время войны, сложилась трагически. Она погибла под колесами автомашины вскоре после возвращения в конце войны в Ленинград.

С Валею связана одна любопытная история. Как-то вскоре после начала учебного года меня вызвал к себе директор интерната и предложил исполнять должность диктора на местном радио. Мол, к нему обратились с просьбой выбрать подходящего кандидата на ежедневное получасовое вещание, которое давалось району для освещения локальных новостей. Среди своих такого человека не было, и районные власти обратились за помощью в интернат. Вот

он и предложил мне попробовать себя на этом поприще. Я согласился с немалым трепетом и страхом. Работа, однако, оказалась мне по силам, и я вещал по утрам в течение месяца или двух.

Этот период совпал у меня с пиком увлечения Вале́й Яковле́вой. Как-то я подошел к ней на перемене и сказал, что каждую свою передачу буду заканчивать ее инициалами – В. Я. Она удивилась, но ничего не сказала. Со следующего утра я начал сопровождать конец передачи ее инициалами. Этого оказалось мало, Валя не отвечала мне взаимностью. Мою проделку никто не заметил, и скоро я сам бросил это дело из-за невероятной скуки, которую она во мне вызывала: «Колхоз “Красный лапоть” в ответ на призыв партии и правительства обязался увеличить надои молока на 50 %» или еще что-то в этом роде. Все же деньги, полученные за вещание, стали моим первым самостоятельным заработком, и я этим весьма гордился.

Нельзя не отметить колоритную фигура парня из нашего класса; он был из ленинградской области и звали его Витя Угаров. Виктор был не силен в учебе, но здорово превосходил всех нас своей практической сметкой и жизненным опытом. Меня, во всяком случае, он очень привлекал. Как-то я пришел к нему домой, в небольшую деревушку возле Черновского. Дело было весной, вскоре после таяния снега и образования возле реки небольших озерков, отделенных от нее отрезками суши. Оказалось, что в них в это время находились щуки, которые не могли пробраться обратно в реку и уплыть. Витя наскоро собрался, взял ружье и патроны и мы пошли стрелять шук. Для меня это было совершенно новым и привлекательным действием.

Мы подходили к озерцу, где плескались щуки, Витя выстреливал из ружья, оглушал их, и они всплывали на поверхность пузом вверх. Тогда Витя в своих высоких сапогах забегал в водоем и вытаскивал на берег шук, казавшихся мне очень крупными. Это произвело на меня, городского мальчика, колоссальное впечатление. Я увидел, как человек может воспользоваться дарами природы и приспособливаться к ней для удовлетворения своих потребностей. Ничего такого я не умел, получая все в конечном виде через магазины и рынок. Витя, кстати, был равнодушен к Мане Неймарк, и они превосходно дружили друг с другом до конца войны.

Кроме школы, я ходил на танцы. Они проходили в Доме Культуры раз в неделю, и я принимал в них активное участие. Я быстро освоил обиходные танцы – вальс, танго, фокс-трот и еще несколько – и начал прилично танцевать. На танцах царила непринужденная атмосфера, появлялось много незнакомых лиц, и с ними приятно было знакомиться, шутить и вести беседу. Привлекала также близость девочек, само их присутствие и кажущаяся доступность. Из-за танцев, однако, начались мои перепалки с мамой. Она порицала мое увлечение и въедливо меня за него отчитывала. Однажды мы так поссорились, что я решил не возвращаться домой.

Постоянным посетителем танцев был школьный учитель военного дела. После ранения его комиссовали из армии, после чего он возвратился домой в чине лейтенанта и стал преподавателем военного дела. Со школьниками он держался весьма дружелюбно, был с ними, что называется, на короткой ноге. Я был с ним хорошо знаком, поэтому, объяснив причину, попросился переночевать у него дома. Он как-то ступешался, но, поколебавшись, согласился взять меня с собой. После танцев мы пошли к нему. Жил он в деревне Вары, неподалеку от райцентра.

Причина его колебаний мне стала понятна, как только он распахнул дверь своего дома. Такой нищеты я никогда прежде не видел. Шел третий год войны, все продукты выметались из личных хозяйств при помощи налогов подчистую. Хозяева все же постарались принять меня достойно: мать моего учителя положила перед нами две картофелины, и это, по-видимому, было все, что она имела. Мы «поужинали», и я улегся спать на тюфяк без простыни, укрывшись каким-то тряпьем. Мой друг казался сконфуженным, но мне не надо было ничего объяснять, – я все понял. Поутру я встал с тюфяка и, поблагодарив хозяев, удалился, чтобы никогда больше туда не возвращаться. Мы в интернате жили небогато, но все же до подобной нищеты не опуска-

кались. Мы сами все производили, а в случае надобности нам, видимо, еще и помогали, чего нельзя сказать о коренных жителях, кормивших своих защитников на протяжении всех лет войны. Они были обречены на нищету и прозябание, о чем я еще буду рассказывать дальше.

За время пребывания в Черновском я закончил восьмой и девятый классы. Учился легко и охотно. В девятом классе у нас не было уроков иностранного языка – как я писал, наш преподаватель немецкого куда-то неожиданно исчез. Вообще в Советском Союзе внезапные исчезновения людей никого не удивляли. Все было так, как это описывал М. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» в отношении «дома 302-бис с нехорошей квартирой 50». Люди исчезали, а оставшиеся лишь пожимали плечами и боялись открыть рот. В моей жизни я столкнулся с подобным событием несколько раз. Еще в Ленинграде из квартиры под нами исчезла семья Гоши Пастака, который учился со мной в одном классе. Они были эстонцами, и их пропажа никого не удивила. То же самое произошло с преподавателем немецкого языка. Он, правда, был поляком, но и его судьба не комментировалась. Не помню, чтобы я задумывался по этому поводу. Раздумья пришли значительно позднее, когда я повзрослел.

Мама отреагировала на отсутствие преподавателя быстро и решительно: она наняла для меня учительницу английского языка, которая сидела без работы. Та приходила к нам и занималась со мной частным образом. Я охотно изучал английский и сделал за год большие успехи. Потом я продолжал изучать его уже в Ленинграде, что оказало огромное влияние на мою дальнейшую судьбу. Но об этом подробнее в следующих очерках.

Осталось подвести итог периоду эвакуации. Я его оцениваю очень позитивно, ибо тогда я научился самостоятельности, открылся внешним влияниям и научился адекватно реагировать на трудности. Из маменькиного изнеженного сынка я превратился в думающее существо, принимавшее самостоятельные решения. Школа эта положительно сказалась на всей моей последующей жизни.

4. Возвращение в Ленинград, школа и ВУЗ

Летом 1944 года, после снятия блокады, ленинградцы получили возможность вернуться в свой город. Для этого они должны были написать прошение по какому-то адресу в городскую администрацию, чтобы получить разрешение на приезд. Обитателям интернатов было легче: выжившие родители жаждали воссоединиться со своими чадами и бомбардировали нас и администрацию города письмами. Так или иначе, группа ребят из моего интерната получила пропуск на возвращение домой. Я был в их числе. Нас быстро собрали, посадили опять-таки в «телятник» (грузовой вагон) и отправили в Ленинград. Я ехал один, без матери; она должна была обслуживать тех, кто не попал в первую группу, и осталась с ними. Вскоре она приехала, но поначалу я жил один.

Мы ехали долго даже по меркам того времени. Одеты мы были кто во что горазд. Особенно плохо обстояло дело с обувкой, и я ехал босой. В Черновском я шеголял в лаптях, но не мог же я появиться в лаптях в стольном граде Ленинграде. Уже на подъезде к городу нас собрали и вытащили мешок с хранившейся в нем обувью. Мне достались ботинки почти на номер меньше моего размера, так что я с трудом их натянул – они жали ужасно. Несколько дней я ходил по городу босиком, добравшись до дома, я немедленно выкинул жавшие ноги ботинки. Помню, как в один из первых дней после приезда мне пришлось в голову пойти в кино-театр «Правда», чтобы посмотреть какой-то фильм. Это было совсем рядом, и я пошел без ботинок. Контролер изумленно посмотрела на меня, но пропустила – в те дни было много такого необычного.

Меня встречал папа и отвел на квартиру. Он считался ответственным за сохранение нашего крошечного жилья и действительно его сохранил. Но мебели в комнате не было, и мы начали собирать вещи по соседям. Это не было сложным делом: мебель была бросовая, и с ней не жалко было расстаться. Соседи были хорошими людьми, но ведь прошло столько времени и сколько было пережито. Отдали без разговоров даже пианино. Мне оно было не нужно – только занимало место. А вот кровать была необходима, и я ею с удовольствием воспользовался. Несколько недель я провел один, живя на деньги, которые мне давал отец. Вскоре приехала мама, и мы возобновили совместную жизнь.

Город был неузнаваем. Зияющие провалы на месте разрушенных домов, на Невском на одной стороне висели плакаты: «Граждане! Эта сторона улицы опасна при обстреле». Все напоминало о недавно пережитой трагедии, о которой велись нескончаемые беседы. Люди, их одежда и поведение соответствовали моменту. Такое состояние продолжалось несколько лет, пока город и его обитатели хоть немного зализали свои раны. В те дни, когда я пишу эти строки, по российскому телевидению показывают многосерийный фильм «Петербург, 1945 – 46 годы» о бандитизме и борьбе с ним доблестных чекистов. В повседневной жизни были иные акценты – голод и нищета. Нам приходилось иметь дело в первую очередь с ними: с отсутствием крайне необходимых вещей, добытием продуктов по карточкам и прочим. Это длилось на протяжении многих лет.

Мама приехала вскоре вслед за мной, она поступила на прежнюю должность участкового детского врача и стала трудиться для прокормления нас двоих. Я был освобожден от работы и записался в десятый выпускной класс средней школы. Школа была рядом, на Социалистической улице (помните, я о ней писал). На сей раз это была ленинградская школа и последний год обучения. Вскоре ввели экзамены на аттестат зрелости, и я принялся за учебу по-настоящему.

Пора рассказать о моем отношении к армии: в 1944 году призывали парней моего года рождения. Еще раньше в Молотовской области нас собирали на предармейские сборы. Там нам объясняли про войну и учили стрелять без винтовок и маршировать в строю. Сборы проходили весело, мы были молоды и беспечны, а командиры наши не особенно старались. Они все

были прошедшими фронт вояками, в большинстве случаев ранеными, и знали свое дело назубок. Зато я хорошо выучил строевые песни, мне они ужасно нравились. Раздавалась команда «Запевай!» и запевала начинал песню, скажем, о Перепете, а мы хором подхватывали припев: «Так, поцелуй же ты меня, Перепетуя...» и так далее. Впрочем, больше было песен патристического содержания, типа «Красноармейцы, Сталин дал приказ...» и тому подобное.

В начале 1944 года меня вызвали в Черновской военкомат. Там я прошел медосмотр и меня признали негодным к армии в связи с очень плохим зрением (минус 9–9.5 диоптрий на каждом глазу). Я не очень-то расстроился, но меня послали на повторный осмотр в Молотов, где подтвердился вердикт об освобождении меня от армии по близорукости. Я вновь был подвергнут осмотру, уже обучаясь в 10 классе в Ленинграде. Там меня окончательно освободили от воинской повинности, сказав: «Иди, учись». Так, не начавшись, закончилась моя военная карьера, чему я был очень доволен. Война уже кончилась, а просто маршировать и ползать на брюхе меня не привлекало. А вот мой двоюродный брат Гава того же года рождения отслужил в действующей армии почти год и участвовал в боях за Берлин.

Интересно, что я вновь оказался военнообязанным в возрасте 46 лет, когда иммигрировал в Израиль в 1974 году. Тогда в стране служили до 50 лет, и меня призывали на военную службу несколько раз до достижения этого возраста. Я должен был купить военную форму в магазине и появляться в ней на мобилизационном участке в определенный день, что я и делал с большим удовольствием. После этого мне давали винтовку, которой я не умел пользоваться, и посылали сторожить какой-нибудь объект или патрулировать по улицам. Служба была необременительной, а я чувствовал приливы гордости от своей активной роли защитника Израиля, тем более, что мне представлялся случай познакомиться с новыми людьми и поговорить с ними на иврите. Я овладевал тогда новым для меня языком и не упускал случая в нем поупражняться. После достижения положенного возраста прекратились все мои военные обязанности, а форма оставалась в шкафу до того момента, когда мы ее выкинули.

В десятом классе 322-ой школы города Ленинграда в начале учебного года оказалось около дюжины парней: напомним, что обучение в средней школе было тогда отдельным, а наша школа была мужской. Так мы и просуществовали целый год без тесного контакта с девушками. Контакты такого рода возникали на вечерах в женской школе на Бородинской улице, куда нас неизменно приглашали. Там начинались знакомства и велись драки за первенство в глазах прелестных хозяек. Помню одну из таких стычек, когда нас чуть не избила шпана с Бородинской улицы. Стычку эту кто-то предотвратил, но неприятное впечатление от вечера осталось, по крайней мере, у меня. Мы с мамой жили в эти годы очень бедно, я одевался в какие-то обноски, что не придавало мне уверенности в своих силах привлечь к себе внимание женской половины тусовок. Вся моя энергия того времени была направлена только на обучение.

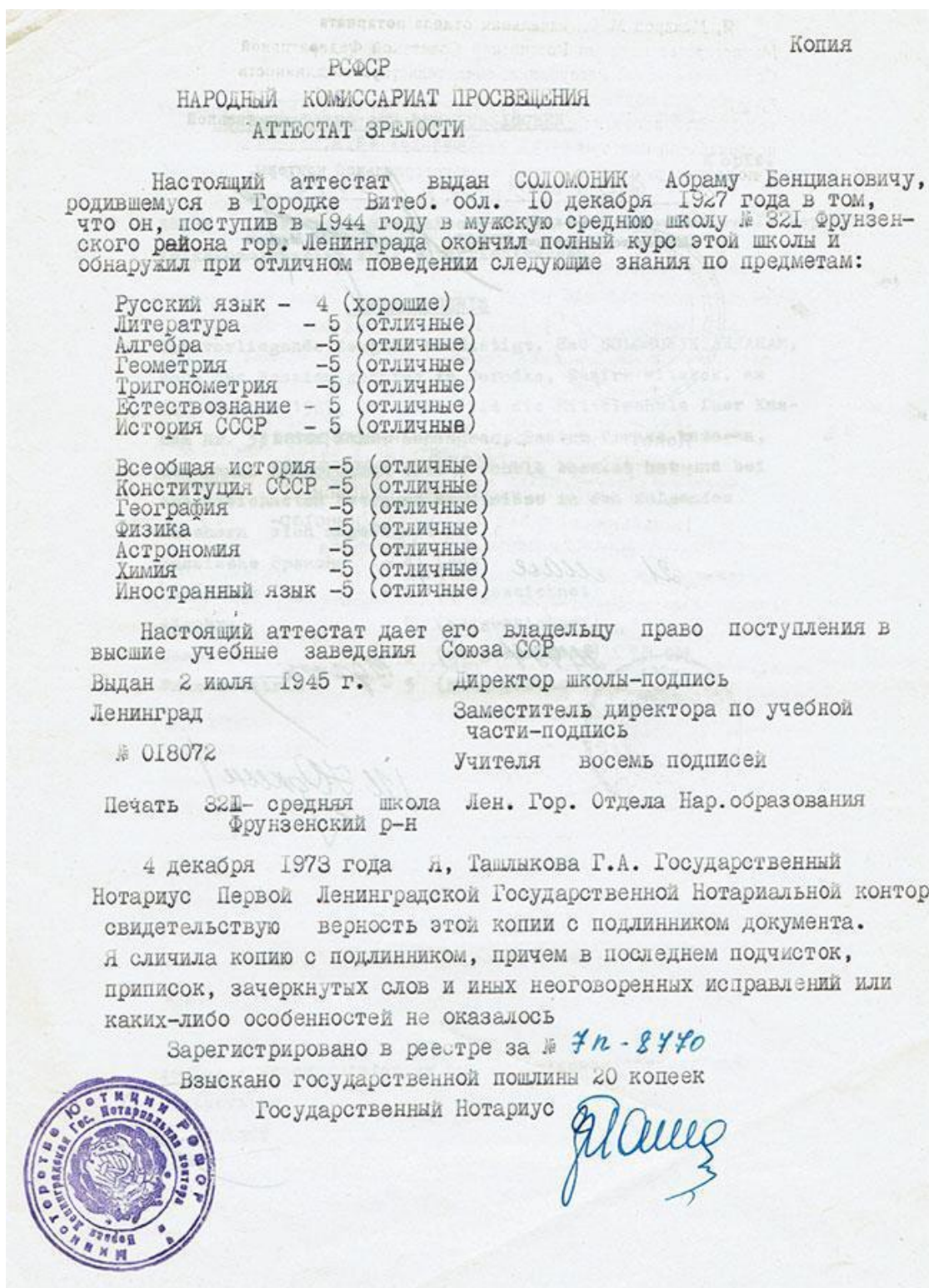
Из дюжины ребят, явившихся в школу в начале года, почти половина быстро отсеялась. Некоторые не выдерживали предельной учебной нагрузки, которая потребовала напрячь силы, чтобы ликвидировать отставание, накопившееся за военные годы. Некоторые ушли по иным причинам. Зато весь год приходили и уходили все новые ученики, потому что город пополнялся все новыми жителями.

К концу года нас осталось семеро: четверо очень способных юношей и трое так себе. Я принадлежал к числу классной элиты и был кандидатом на медаль. Медали я не получил, хотя очень старался. В аттестате у меня были сплошные пятерки, кроме четверки по русскому языку. На экзамене по сочинению я допустил ошибку в слове *участвовать*, за что и лишился права на медаль. Привожу здесь снимок с моего аттестата зрелости, где отражены мои успехи. Мне не разрешили вывезти оригинал в Израиль, и я снял с него копию.

Я очень переживал по этому поводу. В то время я мечтал стать дипломатом и пойти учиться в МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), хотя многие меня предупреждали, что это невозможно при тогдашней антиеврейской политике пра-

вящей вершушки. Четверка в аттестате предотвратила меня от многих разочарований: имея я медаль, непременно бы поехал в Москву поступать в МГИМО и получил бы по носу. А так я выбрал для себя местный юридический вуз, подал туда документы, успешно сдал вступительные экзамены и в конечном счете стал юристом. Но до этого еще далеко, опишу пока атмосферу последнего года в школе.

1944–1945 учебный год прошел под знаком усиливавшейся антиеврейской пропаганды сверху. Шторм был еще не силен, и я не чувствовал его на своей шкуре. В то время я продолжал витать в облаках официальной пропаганды – вел в школе большую комсомольскую работу, выступал с патриотическими речами на разных форумах, словом, был вполне пай-мальчиком. Помню комсомольскую районную перевыборную конференцию, куда меня делегировали из школы. Я рискнул на ней выступить, попросил слова и выдал пламенную речь критического для тогдашнего районного начальства содержания. Видимо, я умел говорить уже тогда; о моей речи много говорили, особенно в школе. Но основное содержание моей тогдашней жизни состояло в учебе. Я много и упорно занимался по всем предметам школьного курса.



Отмечу уроки истории, где мы сосредоточивались на «освобождении исконных русских земель». Тема была архиактуальна, ибо как раз тогда Советский Союз захватывал одно европейское государство за другим. Хорошо помню уроки литературы, где старенький учитель еще дореволюционной закваски касался многих имен, не упоминавшихся в учебнике по литературе. Помню и уроки математики – их вела классный руководитель Марфа Дмитриевна. Она уже была очень пожилой и жила одна неподалеку от школы. Я очень ее любил, и мы, можно сказать, подружились. Я часто навещал ее в крошечной комнатухе и помогал ей готовить

дрова для отопления. Отопление было печным – в комнате стояла круглая печь, в которой горели поленья, точно, как у нас дома. Дров надо было много на всю зиму, и я помогал Марфе Дмитриевне в этом трудоемком деле. Мы также много разговаривали и, как я сейчас понимаю, она исподволь старалась опустить меня с облаков на землю.

Кое в чем она преуспела. Помню, как уже на выходе из школы она повела нескольких выпускников (в их числе был и я) на встречу со своим прежним учеником, прошедшим войну офицером. Он должен был рассказать нам о выборе будущей профессии. Фактически он рассказывал о своей службе в армии. По ходу повествования он использовал фразу, которая мне запала в душу: «Мы оккупировали Болгарию». Я был поражен. Это звучало диссонансом ко всему тому, что я слышал и читал. Обычный текст звучал так: «Мы освободили Болгарию от фашистских захватчиков». Я много раздумывал об этой фразе боевого офицера, и первые сомнения начали разъедать привычный ход мышления. Но до полного прозрения было еще далеко. Оно приходило постепенно и приняло окончательные формы только в Вологодской области, куда я поехал работать после окончания вуза.

В выпускном классе я много занимался английским языком. Получилось так, что я вновь приобрел частного педагога, причем, педагога хорошего. Немецкий язык в довоенном Союзе имел преимущество перед всеми прочими иностранными языками, которые изучались в школе. После войны ситуация кардинально поменялась: английский вышел вперед, а немецкий отошел на периферию. Когда в нашем классе спросили, какой язык кто хочет изучать, то все, кроме меня, выбрали немецкий, потому что изучали его раньше, а я выбрал английский. Вышло, что у школьного учителя английского языка в десятом классе остался лишь один ученик. Мы здорово продвинулись за год: моей преподавательнице нравилось преподавать, а мне – изучать. Язык на выпускных экзаменах я сдал блестяще и продолжал им заниматься все годы пребывания в вузе. Позднее он стал меня кормить.

Закончились экзамены в школе, и я поехал на лето в Невель к дяде с тетей. К тому времени они вернулись домой из Ярославля и жили вдвоем. Им пришлось пережить трагедию потери старшего сына, а Гава все еще служил в армии. После победоносного окончания войны его часть осталась дислоцированной в Германии, потом ее перебросили на юг России, в астраханскую область. Там Гава встретил девушку, на которой женился, и после демобилизации он остался жить в тех краях в семье своей жены. В Невель он наезжал редко, и дядя с тетей встретили меня как сына. Отдохнув после экзаменационной нервозности и заведя множество новых знакомых и товарищей в Невеле, я вернулся в августе 1945 года домой сдавать вступительные экзамены в юридический институт. Для меня начиналась новая эпоха, эпоха студенчества.

Я выбрал юридический вуз потому, что внутренне еще не расстался с идеей стать дипломатом, а юридическая карьера казалась мне правильным шагом в этом направлении. На самом деле одно вовсе не вело за собой второе. Да и мог ли я рассчитывать на что-либо подобное в условиях набиравшего силу антисемитизма? Поступить в юридический институт им. М. И. Калинина оказалось для меня несложно. Вступительные экзамены были по гуманитарным дисциплинам, в которых я чувствовал себя в родной стихии. Институт размещался в доме на Университетской набережной, рядом со зданием Двенадцати коллегий. Когда-то в этом доме жил первый генерал-губернатор Петербурга, Александр Данилович Меншиков.

Формально наш вуз не был частью юридического факультета в Университете, он имел собственные администрацию и бюджет; но де-факто деятельность этих двух юридических учебных заведений, близко расположенных друг от друга, часто пересекалась, и они были тесно связаны между собой. Многие лекторы читали в обоих вузах, часто проводились совместные мероприятия. Наши учебные аудитории, как я сказал, располагались в Меншиковском дворце, в нескольких шагах от Ленинградского университета. Интерьеры дворца были роскошными, и повсюду стояли книжные шкафы со старинными фолиантами, покрытыми толстым слоем

пыли. Их никто и никогда не касался, для будущих советских юристов они не представляли никакого интереса.

В самом начале августа 1945 года, в разгар моей экзаменационной сессии, произошло событие, изменившее ход человеческой истории. Американцы сбросили две атомные бомбы на Японию, и Вторая мировая война прекратилась. Я узнал об этом, придя на очередной экзамен и прочтя в газете кратчайшую заметку в несколько строк, буквально следующее: «США сбросили на японский город Хиросима атомную бомбу». И все – никаких комментариев. Широкой публике это ни о чем не говорило: ни что такое атомная бомба, ни какое значение все это имело. Я прочел и отложил газету в сторону; у меня были иные, более важные заботы. Сталин и его правительство, по-видимому, хотело замолчать колоссальное значение этого факта, открывавшего пути в неизведанное и обнаружившего серьезное отставание страны Советов в научных исследованиях. Они этого в полной мере добились. Лишь позже, со значительным опозданием начал доходить до нас смысл происходящих событий.

К тому времени я уже приступил к занятиям в институте. Наш курс был первым в истории этого вуза. Его костяк составляли демобилизованные воины, прошедшие тяжкую школу войны. Они были намного старше меня и еще нескольких гражданских, пришедших на студенческую скамью сразу после окончания школы. Мы разительно отличались одеждой, интересами, вкусами, а, главное, – образом мышления.

Демобилизованные щеголяли в своих военных шинелях, некоторые – в галифе и сапогах. Молодые студенты, пришедшие после школы, были одеты кто во что горазд. Я, например, на первом курсе носил морскую рубашку с огромным четырехугольным воротом, откидывавшимся назад. Ее мне сшила мама одного из моих знакомых мальчиков, которому я помогал в школьных занятиях математикой; ей нечем было расплатиться со мной, но очень хотелось отблагодарить. Вместо пальто я носил кургузую коричневую кофту, которую мама купила по случаю и которой я ужасно стеснялся. Студенты, прошедшие войну, были гораздо старше молодой поросли, легко сходились и расходились со своими пассиями, а мы только к этому приобщались. Но все это не мешало нам дружить друг с другом и по большей части друг друга уважать. На фотографии, помещенной ниже, запечатлена группа студентов на семинаре в одной из комнат дворца. Видны шкафы с книгами и неперенный портрет вождя. Я (в очках) сижу в первом ряду, слева от меня – мой друг Люциан Васильев, а рядом с ним – один из старших студентов в шинели.



Я подружился с двумя фронтовиками – Колей Осиповым и Алексеем Левашовым. Оба они хлебнули горя во время войны, о чем вспоминали довольно часто. Я прислушивался к этим разговорам с душевным волнением, но по-настоящему не мог принять в них участия. Зато оба они явно уступали мне в понимании абстрактных, оторванных от жизни юридических тонкостей, и я с удовольствием наставлял их в меру своего понимания изучаемых предметов. Так продолжалось несколько лет, пока мы не кончили курса. Каково же было мое изумление и недоумение, когда по окончании вуза Колю приняли в аспирантуру (он был членом партии), а мою кандидатуру даже отказались обсуждать. Это привело меня к окончательному разочарованию в советских порядках и к расставанию с моими иллюзиями на этот счет. Впрочем, обо всем по порядку.

Наряду с институтом я продолжал заниматься английским языком, записавшись на курсы иностранных языков для взрослых. Мне было интересно заниматься языком и не только языком. Я читал в подлиннике Диккенса и других английских авторов, изучал географию и историю Англии, мечтал когда-нибудь туда поехать. Эти занятия продолжались все то время, пока я учился в вузе. Кроме того, я интересовался и другими вещами, и моя среда общения постоянно расширялась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.